

**Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин**

**Невинные рассказы**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин**

Невинные рассказы / Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2011. – 250 с.

**ISBN 978-5-4241-3363-3**

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, гениальный художник и мыслитель, блестящий публицист и литературный критик, талантливый журналист, был одним из самых ярких деятелей русского освободительного движения. Его дар - явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова-Щедрина.

**ISBN 978-5-4241-3363-3**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011





# НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ

## ГЕГЕМОНИЕВ

Молодой коллежский регистратор Потанчиков получил место станового пристава. Произошло это радостное в летописях русской администрации событие следующим необычным образом.

Однажды, одевшись чистенько, явился он на дежурство к его превосходительству генералу Зубатову. Генерал, кроме других добродетелей имевший дар с первого взгляда угадывать людей, угадал и Потанчикова. Проходя мимо юного коллежского регистратора, он окинул его быстрым и проницательным взором и тут же вполголоса сказал сопровождавшему его вице-губернатору:

— А как вы думаете... этот молодой человек... ведь из него может выйти молодец-становой?

— Мо... мо... промычал было вице-губернатор, желая, вероятно, высказать, что Потанчиков молод, но на первом же слогe запнулся, вспомнив, что ему от начальства строго-настрого было наказано всего более о том пещись, чтоб с губернатором жить в ладу.

— А стань-ко, любезный, ближе к свету! — продолжал его превосходительство, обращаясь к Потанчикову.

Потанчиков повиновался. Генерал, заложив руки за спину, снова окинул его испытующим взглядом и, произведя довольно подробный наружный осмотр, видимо остался доволен своею способностью угадывать людей.

— Гм... да, в этом прок будет! — проговорил он, — я, знаете, все эту реформу в исполнение привезть хочу... чтоб этих законопротивных физиономий у меня не было... А ты жelaешь в становые, мой милый?

Потанчиков сначала помертвел, потом застыдился, потом опять помертвел. Горло у него пополам перехватило, и одна нога, неизвестно отчего, начала при-седать.

— Ну, хорошо, хорошо... вижу! — сказал генерал, любясь смущением молодого человека, и, обращаясь к вице-губернатору, прибавил — Так потрудитесь сделать распоряжение.

В этот же достопамятный день, вечером, новоиспеченный становой соорудил в трактире такую попойку, после которой выборные люди от всех отделений губернского правления слонялись целую неделю словно влюбленные.

Тут были все, от которых более или менее зависели будущие судьбы Потанчикова. Был и несокрушимый в пунштах Псалмопевцев, и целомудренный Матфий Скорбященский, были Подгоняйчиков и Трясучкин, были двое Воскресенских, трое Богоявленских и проч.

— Просто, брат, волшебная панорама! — ораторствовал Потанчиков, повествуя об утреннем происшествии, — показывает это, показывает... как только пережил!

— Да, брат, из простых рыбарей! — благодушно заметил Матфий Скорбященский.

— Уж и не говори! думал жизнь, по обычаю предков, в звании писца скончать...

— А теперь вот будешь вселенную пером уловлять! — прервал, вздохнув, один из Богоявленских.

— Нет, это что! это тоже пустое! — скороговоркой вступился Трясучкин, — а ты возьми: станице-то, станице-то какой! сплавы, брат, конокрады, раскольники... вот ты что вообрази!

— Да, при уме статьи хорошие! — отозвался Псалмопевцев.

— Ты больше натиском... натиском больше действуй!

— Да в губернию чаще наведывайся...

— Да ребяташек наших не забывай...

— Ты, брат, не оскорбись, коли иной раз по моему столу тебе замечание будет... Я, брат, тебе друг — ты это знай! — изъяснялся Скорбященский.

— Без замечания иной раз нельзя...

— Без замечаний как же можно!

— Иной раз, брат, сам губернатор тово... да что тут говорить! отстоим!

— Так ты больше натиском... натиском больше действуй! — повторил Трясучкин.

— А по-моему, так прежде всего к Зиновею Захарычу сходить следует, — отозвался Псалмопевцев.

— Сходи, брат! не человек, а душа!

— Сходить — отчего не сходить! сходить можно! — отвечал Потанчиков, улыбаясь всем лицом от полноты внутреннего счастья.

— Нет, ты не говори: «сходить можно!», — наставительно заметил Псалмопевцев, — потому ты еще не понимаешь! Ты думаешь, в чем существо веществ состоит? Например, назовем хоть часы, или вот стакан... ты разве понимаешь?

— Да, брат, именно надо у Зиновея Захарыча поучиться! надо!

— Или возьмем примером хоть то: разве ты можешь угадать, какое тебя впереди поношение ожидает? Спрашиваю тебя, можешь ли угадать?

— Да я, Разумник Семеныч, схожу-с... Я, Разумник Семеныч, еще пунштику прикажу-с...

— Можно. А Зиновой Захарыч всему тебя научит и весь тебе круг действия совершит. Так ты к нему сходи, да не легковерно, а со страхом и трепетом поступи! Вспомни ты это мое слово: в отчаянности утешение найдешь, преткновеня рассеешь и победишь, в делах откровение получишь, коли заповедь его твердо хранить будешь!

Верный данному слову, Потанчиков действительно отправился на другой день к Зиновею Захарычу.

Зиновой Захарыч был выгнанный из службы подьячий, видом худенький, маленький, весь изъеденный желчью. В старину величали его весельчаком, и действительно, он был всегда весел, но весел по-своему, с каким-то мрачным оттенком, как будто радовался и увеселялся, собственно, тем, что удачно лишил жизни своего ближнего. Вся фигура его была каверзна и безобразна и до такой степени представляла собой образец ломаной линии, что, при распространявшихся в последнее время понятиях о линии кривой, он не мог быть терпим на службе даже в земском суде, где, как известно, находится самое месторождение ломаной линии. Поэтому Зиновой Захарыч должен был кончить земное свое странствие, подобно фиалке, в тени того широковетвистого древа, которое в просторечии именуется кляузой и ябедой.

— От тебя, любезный, и на подчиненных уныние! — сказал ему генерал Зубатов, первый из русских администраторов, который серьезно потребовал, чтоб чиновники имели манеру благородную и вид, при исполнении обязанностей, бесстрастный, — нет, ты подай, непременно подай в отставку!

Но общественное мнение решительно приняло сторону Гегемониева. Рассказывали истинные происшествия о том, как гнусного вида офицеры оказывались впоследствии прекрасными полковыми командирами и даже гениальными военачальниками. Говорили о премудрости провидения, которое одному дает в удел красоту, другому богатство, третьему острый ум, а четвертому ничего. Прорицали, что никакое несправедливое действие не остается без возмездия в будущем, и вообще на генерала негодовали, а Гегемониева восхваляли. А все-таки Зиновой Захарыч должен был повиноваться персту указующему...

Но в особенности неслись к Гегемониеву сердца канцеляристов всех возможных родов и видов. Они любили в часы досуга внимать рассказам этого нового Улисса и выслушивали их в веселии сердца своего. И слава, которую пользовался Зиновой Захарыч в этом отношении, была вполне им заслужена. Никто, конечно, не мог подать столь благого совета, никто не мог так утешить, обнадежить и умудрить, как делал это Гегемониев. Гонимые судьбой возвращались от него бодрыми, недугующие — исцеленными, печальные — радостными, слепые — прозревшими, безнадежные — утешенными и просветленными.

На беду Потанчикова, хозяйка квартиры, в которой жил Гегемониев, объявила ему, что Зиновой Захарыч со вчерашнего дня слег в постель и в настоящую минуту находится чуть ли не при смерти.

— В подпитии, конечно-с? — робко заметил Потанчиков.

Но хозяйка положительно заверила, что барин целые сутки маковой росинки в рот не брал и умирает без всякой аллегории. Потанчиков уже хотел удалиться, как из соседней комнаты послышался дребезжащий голос самого Гегемониева, призывавший хозяйку.

— Пожалуйте! — сказала она, возвращаясь чрез минуту к Потанчикову.

— Больны, Зиновой Захарыч? — спросил Потанчиков, садясь у изголовья Гегемониева.

— Да... перепустил, видно... на именинах третьего дня у Разумника Семеныча был... ну, и поплясал тоже...

— Это пройдет, Зиновой Захарыч; от радости худо не бывает-с.

— Да, в наше время, это точно, что люди от веселья не хварывали, а нынче, брат, и радость-то словно не на пользу; везде ровно темнеть какая обстоит... Ты зачем?

— А вот-с, становым на всю жизнь осчастливили... желательно было бы от вас позаимствоваться-с...

— Спасибо. Спасибо тебе, что меня, старика, вспомнил. Это точно, что я напутствовать могу, потому я произошел... я много, брат, в жизни произошел! Плохо вот только мне; даже словно душит в груди... однако ничего, попробую...

— Вертоград этот, — начал Гегемониев, по временам прерывая рассказ свой удушливым кашлем, — вертоград, о котором мы будем беседовать, весьма необыкновенный. В самое короткое время, с небольшим в каких-нибудь сто лет, разросся, приумножился и изукрасился он преестественно.

Говоришь ты мне: «Становым на всю жизнь осчастливлен», а знаешь ли, что

есть «становой»? Думаешь ты, может быть, что становой есть Потанчиков, есть Овчинников, есть Преображенский? А я тебе скажу, что все это одна только видимость, что и Потанчиков и Овчинников тут только на приклад даны, в существе же веществ становой есть, ни мало ни много, невещественных отношений вещественное изображение... шутка!

Скажу я тебе по этому самому случаю аллегорию.

В младых моих годах жаживал я, сударь, в школу и не мало-таки розгачей и мученических венцов, просвещения ради, принял. И сказывали нам тогда, как в старые годы отцы наши варягов из-за моря призывали и как варяги порядок у нас производили, и не обошлось тут без того, чтоб гости хозяев легонько не постегали.

И всему этому я, по невинности своей, в ту пору верил, и все это вышла, однако ж, одна новейшего произведения аллегория. Разберем это дело по пунктам.

Ну, скажи ты мне на милость, зачем было отцам нашим из-за моря варягов призывать, когда у нас и свои всегда налицо? И скажи ты мне еще, каким бы родом эти варяги, если бы это не была аллегория, могли и доселе все в том же виде остаться, без всяких в нравах и обычаях перемен? Это пункт первый.

Второй пункт: «Земля наша велика и обильна...» Если бы это не был вымысел, разве мог бы летописец таким образом выразиться? Разве не было ему известно, что, за тысячу-то лет, всю магушку-Русь на одну ладонку посадить, а другою прикрыть было можно? Что ж это значит? Не то ли, что некто, взирая на нынешнее пространство России, увлекся восторженностью своей до того, что даже забыл, что пишет о временах давно прошедших? Ясно?

Третий пункт: «а порядку в ней нет...» Что сей сон значит? А значит это, что вообще порядку нет и не может быть, пока три брата в надлежашую ясность дела не приведут. Стало быть: «приходите княжить и владеть нами»... Ну и пришли. Пришли, сударь, три брата: первый-то брат — капитан-исправник, второй-то брат — стряпчий, а третий братец, маленький да востренький, — сам мусье окружной!

«Они же бояху звериного их обычая и нрава»... Это значит, что точно спервоначалу было им будто роботно, а после, однако, ничего: сжились да начали владеть и взаправду!

Нуч-с, сударь мой, пришли, значит, три брата, а как земля наша велика и обильна, то и выходит, что им втроем управиться в этом изобилии стало совсем неспособно. И пошли у них братцы меньшие, примерно, хоть ты или я: чем больше порядку, тем больше братцев, и до того, сударь, дошло, что, кроме порядка, ничего у хозяев-то и не осталось. Где было жито — там порядок; где худоба всякая была — там порядок; где даже рожицы росли — и там завелся порядок. И стало, сударь мой, хозяевам куда как радостно: земля, говорят, наша хоть и не изобильна, да порядок в ней есть... резон!

Вот и выходит, что вся эта история одно инословие изображает, и если, примерно, тебя определяют теперь в становые, то ты так и знай, что ты тот самый Трувор и есть, о котором сказано, что для порядку призван.

А порядок что такое? А порядок есть такое всех частей вертограда сего соот-ветствие, в силу которого всякому действию человеческому свой небуиственный ход заранее определяется. А небуиственность что? А небуиственность есть

такое качество, в силу которого ты, человек простой, шагу без того сделать не можешь, чтоб перметте не сказать. В этом-то перметте и заключается вся сущность и сила, так как оно простирает свое домогательство ко всем действиям человеческого без изытия. И так как обладатели его мы, три брата: Рюрик, Синеус и Трувор, то и выходит, что жизнь человеческая вся в наших руках совершается.

В былые времена, когда я к служебным сладостям еще приобщен был, действовали мы на этом поле очень удачно. Главное тут — воображение иметь, чтоб оно тебе на всякий час пищу для действия доставляло. Воображаю я, например, что ты фальшивую монету делаешь; воображаю я это не потому, чтоб ты в самом деле монету делал, а просто потому, что воображение у меня есть и никто для него предела не заказал. Хорошо. Вот беру я белый лист бумаги и изображаю на нем тако: «По дошедшим слухам, имеется подозрение, что такой-то Потанчиков занимается якобы деланием фальшивой монеты. Подтверждаются эти слухи частью необыкновенным образом жизни, который ведет Потанчиков (ибо в доме его по ночам весьма часто усматривается выходящий как бы из подполья тусклый свет), частью чрезвычайным появлением в сей местности фальшивых денег, преимущественно же тем, что жена Потаичикова, будучи такого-то числа на базаре, купила беличий салоп, причем похвалялась, говоря: «Скоро и не такой еще куплю!» А потому и т. д.». Все это, сударь мой, это я себе вообразил, и никакого огня, ни фальшивых денег не бывало. Однако тебе, Потанчикову, от этого не легче. Призываю я меньшого своего братца, который хоть и весь в меня, а считается будто твоим депутатом, и идем мы вместе к тебе с обыском. Супруга у тебя стонет, ребятушки зевают, собаки на дворе воют... ну, и одаряешь ты, сударь, нас по силе-возможности — только, мол, отвяжитесь, ради Христа!

Ты, дружище, пойми это, что в тебе и начало, и середина, и конец человеческого существования заключается. Ты, сударь, истинную веру охраняешь, ты уважение к властям посеваешь, ты здравие, благоденствие и продовольствие всюду распространяешь, ты от глада и града, от труса и наводнения, от мора и поветрия сырых и беспомощных освобождаешь! И все ты один, становой пристав Никанор Перегринов Потанчиков, у которого под началом единый писец состоит да десятка два-три сотских! Мало того: потребуется начальству птицу Финик сыскать — ты и птицу сыщешь! Потребуется статистике сочинить — ты и статистику сочинишь! Ты всеми добродетелями и науками от бога награжден должен быть: ты и хозяин добрый, и сыщик злохитрый, и химик изрядный, и статистик урожденный! А так как ты всего этого, по ограниченности природы человеческой, исполнить не в силах и так как про эту твою ограниченность и начальству, яко из человеков же состоящему, небезызвестно, то какое из сего прямое следствие истекать должно? А то следствие, что ты если не дело делать, так, по крайности, выгоды свои должен соблюсти!

Это тебе философия, а вот и практика. Прежде всего помнить ты должен, что всякая статья должна, по силе-возможности, сок дать, чтоб жажду твою утолить и гладного тебя накормить. Поначалу оно будто робостно, а по времени в такой вкус и азарт войдешь, что словно вот соловей: поешь и сам себя даже не чувствуешь... Пробовал я тоже и зарок на себя класть: буду, мол, сидеть смирно, — так нет, никогда больше двух суток воздержаться не мог! Потому, во-первых, что я своему телу разве враг? А во-вторых, и потому, что есть, сударь, в нашем ремес-

ле притягательная сила, против которой хоть будь ты семи пядей во лбу, — не устоишь! И томит тебя, и душил, и подымает всего... покуда свой натуральный круг действия не совершишь!

Одно нашего брата губит — это питье безмерное. Залезешь это в трущобу, театров нет, балов не имеется — и пошел курить! Слоняешься иной раз по дорогам и в слякоть, и в сыть; и в глаза-то тебе хлещет, и сквозь-то тебя пронимает — ну, и воскликнешь: «жажду!». Иной раз сутки целые слова путем не вымолвишь; все или молчишь, или ругаешься — ничего для души нет... Другие, женившись, думают себя соблудности, так слушай ты меня: не верь тем, кто тебя этим предметом соблазнять будет! Наш брат опричник на все должен быть готов: и в болоте увязнуть, и от меча погибнуть, и от пламени огненного сгореть. Стало быть, зачем тут жена? Затем разве, чтоб руки тебе связать да трусостью сердце твое обуять? Ты пойми это, что в нашем ремесле ты осторожностью да выжидаанием ничего не возьмешь; а ты коли хочешь пользу иметь, так жест у тебя должен быть вольный, широкий, чтоб и вдоль забирал, и поперек захватывал, да и вглубь и ввысь и рвал и метал... Зачем тут жена?

А все-таки надо правду сказать: хоть ты бейся, хоть не бейся, а как придется концы с концами сводить, в результате все ничего и очень мало выходит... Вот и я, например... я ли, кажется, не поревновал, а все под старость голову приклонить негде! Хоть и сказал в ту пору его превосходительство, хлопнувши меня по животу, что тут, мол, все курочки да гусочки хапаные сидят, а ведь, коли по совести-то сказать, какие же это курочки? Наши, брат, курочки русские: худенькие, маленькие да жиденькие — в силу ими насытиться. Вот тех бы индюшек попробовать, которые к его превосходительству на стол от откупщика подаются, ну, тогда точно: вышли бы мы и телом побелее, и ростом поавантажнее... Так вот и смекай ты, как в свете жить, беспечальну быть!

Однако сытым быть можно. Главное, мнение надо в себе победить, кичливость плотскую смиренномудрию духовному покорить, а пуще всего под суд не попадать, потому что в уголовную хоть и однажды попадешь, однако после того всю жизнь будешь счастлив, все равно как бы на затылке тебе кожу взрезали или на лбу клеймо напечатали. А наш брат как дорвется до теплого местечка, так не то чтоб смелостью, а больше озорством действует: я-ста да мы-ста — ну, и разбросает все зря: того ему не надо, то для него презрительно... А ты, коли хочешь невредимым быть, все бери, ничем не брезгуй, да не плюй в бороду-то, не плюй! а пуще ее погладь, потому что и жизнь-то твоя вся в бороде заключается.

И еще: его сивушество иерусалимского князя Полугарова паче звезд уважай. Помни: он по всей земле, всех кабаков, выставок всерадостный обладатель и повелитель... кто ж ему равен?

Итак, сударь, ты от меня напутствован. Иди же ты с миром и не сомневайся... А меня оставь... потому что я умирать хочу!

## ЗУБАТОВ

Генерал Зубатов, бог ему судья, не очень-таки долюбивал меня. «У вас, — говорит, бывало, — слишком голова горяча, милостивый государь, — вы диалектике, милостивый государь, предаетесь!.. служба требует дела, а не соображений, милостивый государь!.. она требует фактов, фактов и фактов!»

И все этак строгим манером.

И держал он меня, по случаю диалектики, в великом загоне; пройти, бывало, по улице совестно; словно и заборы-то улыбаются и шепчут тебе вслед: «Диалектик, диалектик, диалектик!»

А под диалектиком разумел Семен Семеныч отчасти такого человека, который пером побаловать любит, отчасти такого, который на какой-нибудь официальный вопрос осмеливается откликнуться «не могу знать», а отчасти и такого, который не бежит сломя голову на всякий рожон, на который ему указывают.

К балующим пером Семен Семеныч адресовался обыкновенно следующим образом:

— Что вы мне, милостивый государь, там рассказываете? Какие вы там нашли еще препятствия? Разве вам велено вникать в препятствия? Разве вас об этом спрашивают? Я, милостивый государь, тридцать пять лет служу и, благодарение богу, никогда никаких препятствий не видал!

— Помилуйте, ваше превосходительство, ведь это все равно что на камне рожь сеять...

— Ну, что ж-с!.. и посеем-с!..

— Да ведь рожь-то не вырастет!

— Вырастет-с! а не вырастет, так будем камень сечь-с!

— А она и от этого не вырастет!..

— И опять будем сечь-с! нам до этого дела нет, что можно и что нельзя... а мы будем сечь-с!

К «немогузнайка» Семен Семеныч обращался так:

— Что вы мне там доносит и два и три? вы должны сказать мне прямо или два, или три... служба не терпит этой неопределенности...

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, что...

— Знаю я это, милостивый государь, очень знаю... но ведь мне нужны не «или» ваши, а настоящая цифра, потому что я эту цифру должен в ведомости показать, и итог... да, и итог, сударь, подвести!.. в какую же силу я ваше «или» тут сосчитаю?..

Но всего более антипатичен был для него третий сорт диалектиков.

— Я вам приказал, сударь... почему вы не исполнили? — говорил он им, принимая самые суровые тоны.

— Так и так, ваше превосходительство, я был на месте и убедился, что указываемый вами рожон совсем не рожон...

— А разве об этом вас спрашивали? а знаете ли вы, милостивый государь, что за подобные рассуждения в военное время расстреливают?

И так далее, в том же тоне и духе. Одним словом, генерал любил, чтоб чиновник смотрел у него весело, не рассуждал и тем менее противоречил, не сомневался, не провидел и на ногу был легок.

И вдруг, в одно прекрасное утро, он задумался. Долго он думал и сначала, повидимому, скорбел и вздыхал, но наконец приятная улыбка озарила уста его.

— А что ж, — сказал он, — в самом деле! надо же и им дать вздохнуть... трудненько оно будет... правда... а впрочем, что за вздор — не боги же горшки обжигали!

В этот же день я был приглашен к его превосходительству и удивлен следующей речью:

— Вот, любезный друг, — сказал он мне ласково, — оказывается теперь, что

мы с вами до сих пор спали, то есть не то чтоб совсем спали, а так, знаете, скользили по поверхности... составляли там ведомости... наблюдали, чтоб входящие и исходящие не были закапаны... Выходит, что все это было не нужно... д-да!

— Д-да! — повторил я в изумлении.

— Выходит, что от этого у нас и торговля не развивается... и фабрик нет... и богатство народное... тово...

Я видел по его лицу, как все эти непривычные выражения мучительно зарождались в его голове и еще мучительнее сходили с языка.

— Выходит, нам надо теперича заняться настоящим делом! — сказал он решительно.

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

— Да; теперь это нужно... теперь вот и Европа на нас посматривает... ну, да и время совсем не то! ведь, в самом деле, как подумаешь, что значит время-то!

Генерал улыбнулся и начал загонять ногою в угол валявшуюся на полу бумажку.

— Вот хоть бы вчера, — продолжал он, — ведь как казалось все гладко, все прекрасно... плыли мы, можно сказать, по океану и воды даже под собой не слышали... а нынче...

— Отчего же, однако, вашему превосходительству кажется, что нынче все изменилось?

— Да нет! неужто ж вы этого не чувствуете? ведь пора же, пора нам наконец сбросить с себя это скифство!.. надо же и нам когда-нибудь стать в уровень с Европой... ведь этак мы того дождемся, что нас поместят в число пастушеских народов!.. И дождались бы!

Глаза Семена Семеныча сверкнули гневом.

— Разве ваше превосходительство получили какие-нибудь известия из Петербурга? — спросил я робко.

— Нет, вы меня не понимаете! Я просто убедился, что не может это так оставаться, и потому на первый раз призывал уж нынче частного пристава Рогулю и сказал ему, чтоб он отнюдь не смел волюшкам давать... потому что ведь это, наконец, нельзя же: все в рыло да в рыло!

При этих словах я вспомнил, что действительно Рогуля еще утром приезжал ко мне весь встревоженный и объявил, что его превосходительство находится в восторженном состоянии.

— А что? — спросил я.

— Да помилуйте, — отвечал он, — чуть свет меня поднял... я думал, что какое-нибудь упущение или пожар... скажу, и что же-с? «Я, говорит, затем тебя призвал, чтоб напомнить, чтоб ты не дрался, а действовал кротостью и собственным примером; если ж ты будешь драться, так я тебя, подлеца, самого таким образом откатаю, что ты три дня садиться не будешь»... посудите сами, ваше высокоблагородие!

В ту минуту я не разобрал хорошенько этого обстоятельства и даже утешал Рогулю, что, должно быть, его превосходительству во сне что-нибудь нехорошее привиделось; но теперь... теперь я сам начинал догадываться, что тут действительно есть какой-то пунктик, который не далее как в прошедшую ночь зародился в голове его превосходительства, но к утру вырос и распространился вширь с